

18+

Михаил Вайскопф



ПРОПАЩАЯ ГРАМОТА

Новеллы, стилизации, пародии

Михаил Вайскопф

**Пропавшая грамота. Новеллы,
стилизации, пародии**

«Издательские решения»

Вайскопф М.

Пропадающая грамота. Новеллы, стилизации, пародии /
М. Вайскопф — «Издательские решения»,

Новеллы, стилизации и пастиши, впервые полностью собранные в этой книжке, приоткрывают литературно вспомогательную, как бы лабораторную сторону моих профессиональных занятий. Пульсируя на протяжении нескольких десятилетий, они либо предваряли мою работу по изучению романтизма, либо вторили ей, а подчас ее дополняли. Публикуемые сочинения затрагивают разные культурно-исторические пласты и разные страны, отсюда их стилистический разноречивый и разнотемный. Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Предисловие	9
От автора	10
Галилея	11
Хеврон	13
За стеной	18
Конец ознакомительного фрагмента.	19

Пропавшая грамота

Новеллы, стилизации, пародии

Михаил Вайскопф

Дизайнер обложки Виктория Фомина

Иллюстратор Максим Орехов

Корректор Наталья Ширман

© Михаил Вайскопф, 2026

© Виктория Фомина, дизайн обложки, 2026

© Максим Орехов, иллюстрации, 2026

ISBN 978-5-0071-2431-7

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero





Вайскопф, М. Пропащая грамота. Новеллы, стилизации, пародии. Второе, исправленное издание.

Михаил Вайскопф родился в 1948 году в Муроме в семье бывшего зэка и фронтовика и узницы нацистских концлагерей. С семи лет жил в Эстонии. Изучал русскую филологию в Тартуском университете, закончил образование в Израиле, куда эмигрировал в 1972 году.

Преподавал сперва в Тель-Авивском, затем в Иерусалимском университетах. Автор девяти книг по истории русской культуры о Гоголе, Маяковском, «писателе Сталине», романтизме, Бабеле и др. Живет в Иерусалиме, женат, отец троих детей.

© Вайскопф М., текст

© АНО «Студия «Другое Небо», оригинал-макет

Михаил Вайскопф



ПРОПАЩАЯ ГРАМОТА

Новеллы, стилизации, пародии

Предисловие

В этой небольшой по объему книге содержится невероятно разнообразная, плотная, сверкающая гранями вселенная. Любопытно, что, открыв авантитул и увидев будто вырезанные ножницами из черной бумаги фигурки животных, детей, ангела с мечом, я залюбовалась изящным оформлением... А прочитав книгу, и на последней странице увидев те же фигурки уже в другой композиции, я вдруг поняла: да это же теневой театр! В этом тексте так много театральности, остроты, и гротеска, и драматического напряжения (неговоря уже о буквально вертепной пьеске, новой «Гавриилиаде»), что картинки теневого театра — самое подходящее и изысканное для нее оформление.

Прозрачно написанные новеллы «Галилея» и «Хеврон» сменяются пародийной игрой, стилизацией; гомерически смешные, почти лубочные фигуры сменяют романтические картины. Этот текст напомнил мне огромный медный чан в арабской лавке в Старом городе в Иерусалиме, из которого ты с ликованием вытаскиваешь то наконечник копья крестоносца, то старинную серебряную бусину, то обрывок шелкового тканого гобелена 18-го века. И можно долго стоять над ним, рассматривая узоры: превосходно написанные пейзажи и сценки, диалоги, сам воздух новелл: узловатых кошек, толстую мусульманскую луну, которую с боку на бок перекачивает ветер, и «город, который заново открываешь для себя на рассвете.

Дина Рубина

От автора

Новеллы, стилизации и пастиши, впервые полностью собранные в этой книжке, приоткрывают литературно вспомогательную, как бы лабораторную сторону моих профессиональных занятий. Пульсируя на протяжении нескольких десятилетий, они либо предваряли мою работу по изучению романтизма, либо вторили ей, а подчас ее дополняли. Стародавняя фотография автора, вынесенная на обложку, может служить иллюстрацией к началу этого процесса. Публикуемые сочинения затрагивают разные культурно-исторические пласты и разные страны, отсюда их стилистический разноречивый и разнотемный. Напряженно-драматическая нота увязана здесь с нотой иронической — и все разрешается травестийным мираклем: ведь без пародий немислим и романтизм в целом. Вообще же сборник нацелен на достаточно эрудированного и внимательного читателя, который за нарочитой многоголосицей сможет ощутить внутреннее единство, скрепляющее книгу.

Непривычное написание отдельных слов вторит орфографической норме, соответствующей времени действия (включая в одном случае XVIII век).

Посвящается Елене Толстой

Галилея

Сюжет этой вступительной новеллы разворачивается в Израиле, что требует хотя бы минимальных комментариев. Действие приурочено к тому времени, когда после срочной армейской службы (1973—1974) автор немало путешествовал по стране, часто все еще в военной униформе — как бы по инерции, заданной службой и облегчавшей такие странствия. К тогдашним реалиям относится генерал-киббуцник: социалистические поселяне долгие годы составляли военную элиту. Денежной единицей была пока израильская лира, которую позднее заменит шекель. Свиную отбивную портье вполне мог есть на Фаворской горе, поскольку неподалеку оттуда расположен свиноводческий киббуц Мизра. С другой стороны, любой израильтянин без труда увидит мистификацию в «университете Афулы» — вообще-то это город вроде Кинешмы. А Кфар-Нахум — это евангельский Капернаум.

— Какую свиную отбивную ел я на Фаворской горе! — сказал портье. — Вспомнишь — плакать хочется. Слышь, солдат, в Иерусалиме нет, видать, таких ресторанов — у вас там сплошной кошер, никакой жизни, одни ортодоксы да чиновники. А здесь, в Галилее, народ добрый, приветливый. Ты вот на меня посмотри.

Он стоял в проеме, как веселая кариатида, подпирая косяк мохнатой рукой. Лицо его, оживленное мелкой асимметрией — намек на флюс, легкое косоглазие, — гармонировало с фасадом этой маленькой гостиницы, правое крыло которой сдвигалось в галилейскую полумглу, поросшую кустами. Запах цветов смешивался с его деодорантом. Сумерки настигли меня в пути, ближайший Солдатский дом находился в часе езды отсюда, в Тверии, а где тут поймать попутку! Номер стоил шестьдесят лир, но портье (старшина запаса, уважавший армию) взял с меня двадцать, пообещав уладить это дело с хозяйкой.

— У нас тут постояльцы не чета тебе — солидные люди, — похвастался он, когда мы поднимались по темной лестнице. — На днях гостил профессор, археолог из университета Афулы, за обедом столько всего нам наплел! Сказал, совсем неподалеку, в Кфар-Нахуме, Иисус ходил пешком по воде и ловил рыбу руками. А может, гои и врут. Слышь, солдат, оказывается, кого только в нашей Галилее не было — и финикийцы, и греки, и римляне, и хрен знает кто. Это еще до всяких арабов было. Такую погань тут расковыряли,

не поверишь — каменные херы, размером с огнетушитель, только без яиц. Весь край в развалинах — красота! Хочешь — любуйся ихней Венерой или Мадонной, не хочешь, посети могилы праведников, благословенной памяти. Я тебе говорю, мы люди радушные, это тебе не ваш Иерусалим.

За что он так взъелся на мой город, я так и не понял. Наверху было темно, сломался выключатель, а окно в конце коридора заслонял широкий шкаф, стоявший спиной ко мне, прямо у двери в номер. Постель, покрытая свежим бельем, симулировала девственность. На одной стене светилась фотография начальника генштаба (суровый берет, задумчивые глаза, усы военного цвета), на другой рекламно синел Кинерет в фате утреннего тумана. Торшер произрастал между креслом и грубым письменным столом, пригодным для аграрных мемуаров. На столе пузырилась зеленая пластмассовая ваза с разномастной флорой.

Снаружи к дому сползались холмы, усаженные серебряными валунами, над которыми тяжело кружилось рваное галилейское небо с подтеками заката. С приземистой оливы взлетали вороны, а поодаль, сквозь мглу, нежно розовело иудино дерево. Все это я уже видел, видел в одном из прежних странствий — и увижу еще не раз.

Приняв душ, я погасил свет и лег на кровать, до пружинных судорог заезженную туристскими парочками. Почти

сразу меня обступили зыбкие, бессюжетные сны — в них, ликуя, журчала вода, светившаяся изнутри каким-то кобальтовым свечением, пахло травой и влажными камнями — вероятно, смешанный эффект душа и плаката с Галилейским морем. Кто-то бедный и безликий окликал меня — но не по имени, а как-то иначе. Зов был тихий, тревожный, ночная душа спряталась от него в явь — вскоре я проснулся.

Ветер, задрав занавеску, наотмашь бил по окну, в конусе абажура плясала лампочка, и ее тени с шуршанием носились по потолку, мешаясь с бликами истлевающей предрассветной луны. Простые киббуцные очи генерала сверкали сухим пистолетным блеском, усы топорщились. По полу, разливая воду, катилась пластиковая ваза с припадочным громоханием.

А за стеной с озером сквозь шум струились странные и милые голоса. Казалось, переговаривались мать с дочерью, и дочь что-то торопливо и сбивчиво рассказывала, а та перебивала ее восклицаниями, — веселое недоумение, не может быть, неужели, — и обе изнемогали от смеха. Потом я услышал, как вода лилась там в кувшин — с таким звуком, будто кувшин был каменный, и в этой воде снова плескался и расходился со стеклянным звоном летучий смех, и девушка все болтала и смеялась, и все это походило на быстрый лепет маленького римского фонтана, выбрасывающего тонкие струи в бассейн с бронзовыми львятами. Я совсем не различал слов, порой они напоминали мне греческий, иногда испанский или ладино, чуть-чуть итальянский, но все это было не то, какой-то другой язык, который я, быть может, слышал в детстве — но в каком, в каком детстве мог я его слышать? Только одно слово уловил я, и это было мое собственное имя, но прозвучало оно иначе, другое, забытое мною имя, беглый контур души. Я не сразу его опознал и не успел отозваться, имя прошелестело уже так тихо и невесомо, словно его назвали напоследок, как пароль, уходя от меня в неведомый легкий путь. А потом все смолкло, и затих ветер.

В окне я увидел торопливую киноварь зари, мельхиоровые камни громоздились на холмах, как черепа неведомой и бессчетной родни, как светлые кости отринутых поколений, готовые пробудиться к текучей и беспечальной жизни. Под самым окном, будто на голос незримой свирели, выступали гомеровские овцы, облезлые овцы цвета хаки. Комната уже успела восстановить свою безличную гармонию, вчерашняя ваза с цветами как ни в чем не бывало стояла на письменном столе. Генеральское лицо больше не отделялось от стены, и зазывно синел Кинерет.

Внизу в вестибюле завтракали портье и хозяйка, вялая женщина в потрепанной кофте со спелыми пуговицами. Они пили кофе, отставив мизинцы.

— Садись с нами, — сказал портье, подвигая ко мне баночку йогурта и тарелку с каким-то гербарием. Хозяйка налила кофе.

— Что это у вас там за постояльцы, какие-то женщины в последней комнате справа?

— Женщины? — портье озадаченно взглянул на хозяйку, которая слизывала простоквашу с указательного пальца. — Да нет там никого. И никого быть не может.

— Но ведь я слышал голоса...

— Господи, это ж надо, — вздохнула хозяйка, сдвинув брови. — Не знаю, что ты там слышал, только там нет никакой комнаты. Твой номер, крайний, угловой. Не пойму, как таких чудиков на службу берут.

— Погоди, ты где, собственно, служишь, парень? — привстал со стула портье. — Где твоя часть? В каких ты войсках?

Не ответив, я поднял рюкзак и вышел в галилейское небо, подбитое травой и камнями. Долгая, изнурительно долгая служба досталась мне, Бог весть, когда она кончится, но я не откажусь от нее, потому что не знаю большего счастья, чем с рюкзаком за плечами и в солдатских ботинках идти по Галилее.

Хеврон

Холод здесь был такой, что тело на ветру стягивало бетоном, а кости казались арматурой. По ночам мы карабкались в небо по приставной лестнице и старались отогреться в дощатой караульной будке на крыше Дома Романо. В ноги нам утыкалась мощная электропечь, и ее багровые спирали высвечивали лживую похвальбу на стенке: «Здесь, в этом доте я сломал целку арабке. До чего горячая п-зда!» Но будка сразу перегревалась, как эта самая целка, ботинки начинали дымиться, и тогда мы выскакивали на крышу, откуда нас норовил стряхнуть ветер, и спасало только ограждение из колючей проволоки, выведенное по периметру. Муэдзин на ближней мечети стонал: «Аллау-акбар!», узловатые кошки творили намаз или, потягиваясь, скребли жестяными когтями по небу. Ветер все сдувал и сдувал толстую мусульманскую луну, но та перекатывалась с места на место. Порой бубнил дождь, тоже отдававший кошатиной, и улица наливалась помойным мраком. На небе с грохотом переставляли утварь, кто-то бил в Хеврон огненным ломом, ворочая камни, — а на рассвете город приходилось отыскивать заново. Деревья группировались по-иному, вчерашняя улица вползала на какой-то новый, сегодняшний холм, и до казармы я добирался наошупь.

Этот сарай прятался на месте бывшего автовокзала и вместе с призраками автобусов кочевал по городу, к утру возвращаясь домой. Там мы пили кофе, отсюда сквозь ветер перебежали в столовую, если удавалось ее найти, а потом спали, пока нас не будил дежурный сержант Мордехай, которого мы прозвали Ангелом смерти — Малах а-мавет. Он собрал четверых: Йосефа — домовитого столяра из Бат-Яма, киббуцника-рыбака Давида, Авраама, или Ави, — очень начитанного студента из Южной Африки и меня. Сначала был еще с нами рижанин Леня Зиммер, боксер-легковес, бывший чемпион Латвии, но его перевели в комендатуру, и там он расхаживал по каменному двору, поглядывая на небо, расквадраченное колючей проволокой, или на узкие окна тюремных камер. Порой из них доносились вой и урчанье — арабы топтали предполагаемого стукача или наоборот, жарко любили друг друга.

Мы узнали, что Ангел смерти давно приятельствует с Йосефом, они где-то вместе служили. В первый же день Ангел показал ему здешний рынок, где Йоси всего за десятку купил роскошные электронные часы величиной с пепельницу, на которых было написано «General Motors».

Мне не везло: Ангел всегда забирал его с собой на дежурство в лучшую будку Хеврона. Она стояла на крыше арабской виллы, и сама у нас так и называлась — «Вилла». В ней было просторно и тепло, а не жарко, хотя ее согревали сразу две печи. Наружу выходили только для осмотра, а остальное время глазели в бинокли и тешились транзистором. Внизу жила богатая, пожилая и многодетная арабская чета, истовые мусульмане. Их распирало мнимым радушием, они угощали солдат отличным кофе — обычно присылали наверх старшего сына, угреватого балбеса, или семнадцатилетнюю дочь, рыжеволосую и шахерезадую. В казарму часто заглядывали Валид и Мансур, жандармы-друзы. Бросив свои дубинки на кровать, они угощались кофе. С Йоси они спорили о политике. Йоси голосовал за Ликуд, а они предпочитали левых социалистов или, на худой конец, Маарах¹.

— Во-первых, — говорил Валид, — я как национальное меньшинство стою за равноправие. Потому мне ближе Маарах. Мы, друзья, — те же арабы. Какая разница?

— А, во-вторых, — уточнял Мансур, — при Маарахе был порядок, не то, что сейчас. Теперь, при Ликуде, арабы делают что хотят, ты в него и стрелкнуть не моги, если он на тебя нападет безоружный. А поди разбери в темноте, чем в тебя этот говнюк кидает — камнем или гранатой. В воздух выстрелишь, и то по судам затаскают. Прокуратура всегда за них. А

¹ 1.Тогдашнее обозначение левоцентристского блока (социал-демократы).

как было при Маарахе? Вот, в 75-м тут арабы напали на людей, девочке глаз вырезали стеклом. Пока следователи еще не прикатили, мы их так уделали, что вспомнить приятно. В этой шобле был парень лет семнадцати, наглый, как танк. Имя свое не называет, вы, говорит, так и запишите: «Я, — говорит, — король Хеврона». Был у нас в отделении один еврей, но крутой. Поставил он его раком, взял «узи» и ка-ак даст ему прикладом по яйцам, у того аж из штанов потекло! Ну вот, говорит, теперь ты королева Хеврона.

— А вообще-то, — встречал Валид, — арабы вас, евреев, да еще резервистов, ни фиги не боятся. Зато как приедет всего один джип с друзьями, так эти вонючки ноги в руки. Мы их сразу мудохаем... С вас тут на сборах какой спрос? А на нас ответственность.

Впрочем, сильнее, чем арабов, ненавидели мы еврейских поселенцев-ортодоксов за то, что нас поставили их охранять. Их было меньше, чем нас, солдат, но, по-моему, они и так ни черта не боялись. Они возвращались туда, где до 1929-го жили другие евреи, такие же набожные и многочадные (пустовало только одно здание — самое страшное). Дети нынешних, чумазы, с закрученными проволочными пейсами, носились по всему Хеврону и были самой подвижной частью его и без того бродячего ландшафта.

Как бы ни ворочался и ни расплзался по ночам этот город, вила всегда оставалась напротив нашей будки. Оттуда, из света, неслась тошнучая музыка, которую не могли заглушить даже кошки со своим муэдзином. Однажды, когда на заре был такой ветер, что приходилось удерживать себя за шиворот утепленного комбинезона, я увидел, как возле их дота, мощно ступая босыми ногами по железной крыше, появилась девушка с ведром и полотенцем. Она окатила голову водой из ведра. Волосы толстой рыжей струей потянулись по ветру. Она вытерла их, повернулась и ушла, громящая ведром.

Тогда, закинув автомат за спину, я спустился по приставной лестнице и постучался в зарешеченную железную дверь. Там жила семья переселенцев из Бруклина, которая вставала очень рано. Мне открыла молодая хозяйка, в грязном переднике и платке, сдвинутом на ухо.

— С добрым утром, сударыня, — сказал я. — Я продрог, как собака. Не могли бы вы угостить меня чашкой кофе?

Из коридорных глубин несло старым бельем и жареной рыбой, в проеме мелькали бледные дети. Один из них, сопя, смотрел на меня без всякого любопытства. Кофе пах рыбой, пироги — подштанниками.

Хоть мы их охраняли, эти ортодоксы не жаловали нас, сионистов, да и все наше безбожное государство. Просто они хотели жить в святом Хевроне, у гробницы патриархов, в первой столице еврейского царства, дожидаясь Мессии.

Другие, из «Стальной ермолки», бойкие веселые парни с талмудом и автоматами, привечали нас куда охотнее. Они жили в йешиве при синагоге Праотца нашего Авраама. Заглядывая в окна, мы видели, как ихний раввин доставал огромный фолиант и со стуком вытряхивал из него на стол буквы, а остальные тут же кидались на них, переставляя по-своему. Но крыша этого праотца была самым гнусным местом во всем городе. Вообще-то она примыкала к помойке — но по утрам помойка прикидывалась рынком, а крысы — торговцами, и, наконец, внизу медленно расходились бледно-зеленые железные двери арабского кафе, и ласковый старик-левша, обутый в ботинки на босу ногу, выносил немытые стаканчики с кофе на латунном подносе.

Но до этого нужно было прожить ночь. В тамошней будке не было электричества, если, конечно, не считать полевого телефона, одетого в хаки, так что мы разводили на крыше костры из рыночных досок и пытались согреться водкой.

— Водка не поможет, — сказал в первую же ночь Давид, киббуцник. — Я вот рыбачу на Кинерете, так зимой чего мы только не натягиваем — и по три свитера, и куртку, и сапоги до яиц, все равно колотун. А от выпивки только хуже. Сначала тепло, а потом еще больше мерзнешь. Но ты же из России, ты-то чего зябнешь?

— Здесь ветер, — бормотал я, прихлебывая водку из горлышка. — Ветер.

Из тьмы впереди смутно выпирала кладбищенская гора, и мусульманские надгробья на ней то зарывались в землю, то выползали из нее, разрастаясь в целые кварталы. Мы были совсем на виду, и оттуда, с кладбища, нас ничего не стоило подстрелить, если б у мертвецов имелись стволы. А позади нас громоздились развалины, там евреи жили до 1929-го года, пока арабы не раскромсали ножами шестьдесят девять ортодоксов. Нынешние поселенцы еще не успели эти дома отстроить, а арабы туда не вселялись, потому что боялись покойников. Иногда в каменных квадратах бывших окон зажигался свет, где-то лязгали двери, давно сорванные с петель, мелькали тени в широкополых шляпах, и, наверно, можно было бы подняться по лестницам без ступеней, отогреться у хозяев в эту нескончаемую ночь, попросить у них чаю, но я не решался надолго покинуть свой пост.

Как-то раз, когда опять дождило, невысоко над собой я увидел пожилого усатого ангела в синей спецовке с выцветшей надписью на иврите «Фирма „Тадиран“». Выпростав руку из-под мокрого крыла, он приколачивал к небу звезду, но промазал, тяпнул себя по пальцу, и звезда шлепнулась в лужу, спугнув крысу. А потом на крышу, планируя, спустилось серое перо, вроде куриного.

Днем, когда к нам присоединился Йоси, мы вчетвером патрулировали Хеврон, обходя дозором Сугубую пещеру — гробницу Авраама, Якова, Ицхака и Сарры. Только одна эта пещера и не трогалась с места, потому что остальной город вращался вокруг нее. Внутри, на верхнем этаже за решетками, стояли каменные глыбы, покрытые зелеными коврами с арабскими вензелями — надгробия наших патриархов, но сами могилы были внизу, куда нас, евреев, не пускали.

— А вы знаете, что здесь похоронены еще Адам и Ева? — спросил нас раввин из йешивы, когда мы, устав от кружения, курили у стены гробницы.

— А где похоронен змей? — сухо спросил Давид. Но раввин не обиделся, а предложил нам надеть тфиллин, и черные ремни стянули наше тело, не давая ему распасться.

Мы спотыкались о камни, их створки внезапно расходились, и оттуда, задев нас плечом, выскакивал небритый араб в кефии. А порой камни собирались в воздухе, и тогда он бил нас гранитом. Мы отступали к стенам, заряжая автоматы резиновыми пулями, но тут приезжал Валид с Мансуром, и камни с воем разбежались по местам.

Здесь все было поддельным, даже бродячие деревья — приглядевшись, я замечал цементный ствол, проступавший из-под коры, а из веток торчали ржавые прутья. Примелькавшийся переулок вдруг свертывался в мусорную свалку, а та, что напротив, выпирала улицей, да такой крутой, что автобусы поднимались на задние ноги и шли стоймя. Из любого в нас могли запустить гранатой, но однажды, совсем наоборот, нам осторожно помахали ручкой две старшесклассницы в серых мусульманских робах.

Казалось, что времени здесь не было, оно свернулось в булыжник и заснуло, но тут мы узнали, что ночь на исходе.

— Еще аж целых два дня осталось, — сказал Йоси со вздохом. Он держал на коленях ботинок, заколачивая в подошву гвоздь часами от «General Motors». — Еще два дня в этом поганом городе. Прохвост на прохвосте. А я тут вляпался в такую историю, в такую историю! На этой самой вилле на меня запала ихняя дочка. Сначала она мне кофе носила, а потом постепенно в меня влюбилась.

— Чего ты врешь? — укоризненно сказал Ави. — Зачем ты на нее наговариваешь?

— На кой мне врать-то? Да я от нее сегодня получил письмо — в бутылке из-под колы, чтобы предки не засекли.

— А что она пишет? — спросил я.

— Да хрен ее знает. По-английски она не больно врубается, а письмо — по-арабски. Слышь, Валид, будь другом, переведи, а?

Валид протянул чашку Мансуру.

— Допей, — сказал он. — Я больше не хочу. Это моча, а не кофе.

Потом вытер руки о штаны и разгладил листок.

«Дорогой Юсуф, я полюбила тебя с первого взгляда. Но никто не должен об этом знать. Иначе меня зарежет мой старший брат. Мне здесь очень плохо. Дорогой Юсуф, умоляю тебя, забери меня отсюда и спрячь где-нибудь. Я хочу стать твоей женой. Твоя Мариам».

— Она что, совсем стебанутая? — поразился Йоси. — Куда я ее дену? У меня жена и трое детей. Мне тридцать четыре года. Что она, не может найти кого помоложе?

— Хоть красивая? — любопытствовал Мансур.

— Телка классная. И сиськи, и зеленые глаза. Рыжая, но почти блондинка. У ейного отца два магазина. Но мне-то что с арабкой делать? У меня семейная жизнь, дети. Ради них здоровье портишь, клиентов разводишь. Как говорится, для детей будешь срать кубиками. Я даже не очень блядую. Зачем искать на жопу приключений?

— Здесь и не поблядуешь, — сказал Валид. — Это ж мусульманский город. Хочешь блядовать, езжай в Вифлеем. Там христианки, они, в общем, дают. А у этой твоей Мариам просто зачесалось. Не хочешь сам, познакомь меня с ней. Мы ее сразу утешим.

— Нет, это не по-людски, — вздохнул Йоси. — Цинизм какой. Все-таки девушка влюбилась в меня, неважно, что арабка, зачем же ей жизнь портить. И потом, брат или отец ее за это зарежут.

— А так они тебя зарежут, — возразил Валид, — потому что ты еврей. А нас они не тронут.

— А, во-вторых, — сказал Мансур, — надо ж совесть иметь. Мы, что, зря трудились, переводили? Не хочешь сам, уступи людям.

— Нет, — отмахнулся Йоси. — Я лучше напишу ответ. Это деликатное дело, я обижать ее не хочу. Напишу, что для ее же счастья не могу увозить ее из родного дома, потому как мне некуда ее деть.

— Хочешь, чтоб мы написали по-арабски? — предложил Мансур.

— Нет, тогда она сразу догадается, что в дело замешаны другие люди. Ави, будь другом, напиши поделикатнее по-английски, она поймет.

— Мудак ты, — крикнул Валид.

— Ты что, из России? — спросил меня Мансур. — Я тоже одного русского знаю. Зовут Бóрис. Встретишь, передай привет.

— Ладно.

Ави отложил толстую книгу, которую читал все эти дни. Я впервые увидел название. Это был англо-ивритский словарь.

— Давай бумагу, — сказал он.

Ночью я снова корежился от холода на крыше Дома Романо. Сквозь облака бодались минареты, мигала скособоченная луна. На вилле все так же пылал свет, но музыки не было. По крыше, шурша прохудившимися подошвами, очумело слонялся Йоси, видно, он совсем не чувствовал стужи. Правда, и ветер улегся.

Утром, когда Ангел смерти отовсюду собрал нас и привел в казарму, Йоси буркнул:

— Ну вот, чуяло мое сердце. Обиделась. Прочла и с тех пор не разговаривает. Ни слова. Хоть бы взглянула в мою сторону... Знаешь что, Михаэль, будь другом, иди-ка ты завтра туда без меня. Хоть в дневную смену, да все же хоть разок отдохнешь на вилле. Ты уж извини, мне неудобно, что раньше не получалось.

Следующий день я провел на вилле. В будке на стене была распята десятисантиметровая бабочка. Ангел смерти читал газету и гасил окурки в консервной банке. Радио рассуждало о политике, и по метеосводке было ясно, что при таком правительстве хорошей погоды нам не дожидаться. Хозяин принес кофе и обвел нас добрым лучистым взглядом. Да-да, я старый,

больной человек. У меня семья, доходы. И если я вас зарежу, не на кого будет оставить хозяйство, а в тюрьме я помру.

Потом на крышу поднялась Мариам. У нее были зеленые глаза, длинные, рыжей воды, волосы. Но кожа была плохая — хевронская кожа, толстая и нечистая, как здешняя мостовая. Спускаясь по лестнице, она напевала, ритмично встряхивая тяжелым крупом. На третий раз она спросила меня по-английски, как меня зовут, и уже перед самым нашим уходом, когда у нас кончилось курево, принесла нам из лавки пачку сигарет и арабские спички с тремя коронами.

— Смотри-ка, — сказал мне Ави, когда мы паковали вещи, и казарма на глазах скукоживалась. — В «Маариве» какой-то профессор пишет, будто хевронские арабы в антропологическом отношении близки к евреям периода Иудейской войны. Это ж надо, какая пакость!

Он пустился было в размышления, но тут появился Леня Зиммер. Он влетел, оттолкнув в дверях Валида, взмахнул забинтованной рукой, а другой, неповрежденной, достал бутылку и рывкнул:

— Мишка, давай выпьем! Последний день!

— Что у тебя с рукой?

— Непруха, — пригорюнился Зиммер. — Понимаешь, оперативники тут загопили целую кодлу этих, которые камни бросают и все такое. Привели их в комендатуру, мы их там сперва во дворе пасли в оцеплении. А один, здоровущий бугай, вдруг вырвался и прямо на меня — я же с виду маленький, типа слабое звено.

— Ну?

— Ну я ему встречным и врезал. Только по челюсти побоялся — еще сломаю, думаю, засудят на хер, компенсацию придется платить. Дал ему в лобешник, а он с копыт. Вот кулак и опух. Ну и хрен с ним. — И добавил на иврите, обращаясь к Йоси и Валиду: — Не беда, рука-то правая. А я все равно левша. Как тот араб в кафе у Праотца Авраама.

— С чего это ты взял, что он левша? — удивился Валид.

— Да он кофе всегда левой рукой подает.

И тут Валид засмеялся. Он смеялся хрипло, с гавканьем и хрюканьем, смеялся гортанно, словно что-то рассказывал по-арабски, а отсмеявшись, сказал:

— Никакой он не левша. Мне он подает кофе всегда правой рукой. А вам всегда левой. Потому что левую руку арабы презирают, они ею подтираются.

— Ну и город, — огорчился Йоси.

— А во-вторых, — послышалось за дверью, — я ему так прямо и сказал: служи я в Рамалле, я бы уж давно стал прапором (тут дверь отворилась, и вошел Мансур с Ангелом смерти), а не сидел бы еще в сержантах в этом сраном Хевроне.

— Ну и город, — сказал Зиммер. Здоровой рукой он достал пачку сигарет, я поднес ему спичку.

— Слышь, Мансур, — я протянул ему скомканный листок из спичечного коробка, — не переведешь ли?

— Погоди, — сказал он, — знакомый почерк. — Ага. «Дорогой Михаэль, я полюбила тебя с первого взгляда. Но никто не должен об этом знать. Иначе меня зарежет мой старший брат...»

За стеной

Каспар Штерн, двадцатилетний поэт и студент теологии, поселился весной на краю городка, в домике фрау Кунц, вдовы вахмистра, женщины важной и строгой, зато отличной хозяйки. Сердце у него было слабое, он быстро уставал, и, прослушав его, университетский врач присоветовал ему спокойную, размеренную жизнь на лоне природы. У вдовы было тепло и уютно, и к завтраку она подавала кофе со сливками. Свою скромную мебель фрау Кунц украшала вышивкой; под окнами у нее росли крокусы и резеда, а снаружи — тутовые деревья. От соседнего дома двор отделяла высокая каменная ограда, откуда по ночам доносился собачий лай. Кто жил там, студент не знал. Возле дома по камням змеился ручей, а вдали, к западу от города, тянулся лес, где, по слухам, водились олени и даже волки. На закате все сильнее пахло яблоневым цветом — видно, из соседнего сада, где за стеной бушевал соловей, и когда Каспар глядел на густеющее небо, ему совсем не хотелось заниматься греческим.

В мае начались грозы — в вышине над деревьями расхаживал кто-то праведный и гневливый. А потом, сидя в беседке возле стены, студент слышал доносящиеся из сада легкие шаги и порой какие-то женские речи, до того тихие, что слов он не мог разобрать. Голос, однако, был юный. От лени и праздности Каспара одолевало любопытство. Отправляясь на предписанную ему прогулку, он всегда проходил мимо невысокой железной двери, врезанной в известняк, и однажды — это было уже в сыром и душном июне — он увидел, как оттуда появилась патлатая старуха с кошелкой. Была она в застиранном клетчатом переднике, с седыми прядями над бесцветными глазами — кажется, без зрачков — и в сопровождении пуделя-брюнета, аккуратно, даже франтовато подстриженного, словно в укор хозяйке. Странное дело: когда она открыла дверь, Каспару почудилось, будто там, за нею, ничего не было — то есть ни зелени, ни самого сада: вообще ничего. Старуха заперла дверь и хмуро покосилась на Каспара. Он поклонился — та молча кивнула. Потом студент не раз встречал ее, когда соседка возвращалась из города — с кошелкой, наполненной овощами, но уже без собаки. Он предлагал ей донести ношу, но старуха неизменно отказывалась — любезно и сухо — хотя видно было, что ей тяжело. В разговоры она не вступала. Дважды Каспару довелось заметить и высокого худого старика, подходившего откуда-то сбоку к железной двери с мотыгой и лейкой.

Тщетно пытался он выведать что-нибудь у своей хозяйки. Фрау Кунц не хотела, да, возможно, и не могла отвечать на его путанные вопросы. Да, там кто-то живет, но кто именно, ей неизвестно: не в ее правилах интересоваться чужой жизнью, с нее достаточно собственной, да и та утратила всякий смысл после кончины господина вахмистра. Теперь таких людей больше нет — откуда им взяться, да и кому они теперь нужны? К оставшимся она относилась со сдержанной антипатией; по-настоящему раздражали ее лишь бесстыдно растущие цены на кофе. По вечерам, при свечах, она искусно вышивала собственный рай — лебедей, арфы и мельницы. Иногда Штерн, от нечего делать, сопровождал ее в походах на рынок (вдова экономила на прислуге). Ее житейская любознательность исчерпывалась проницательными взорами, которые она обращала на картофель, брюкву и самих торговков — ибо свои гастрономические наблюдения вдова увязывала с физиогномическими; и, глядя на нее, Каспар убеждался, что тайная гармония сочетает людей с овощами.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.